

В. М. ГАРШИН



КРАСНЫЙ ЦВЕТOK

**РАССКАЗЫ
ПИСЬМА
ВОСПОМИНАНИЯ**

Всеволод Михайлович Гаршин

Трус

Рассказ «Трус» (1875) В.М.Гаршина был напечатан впервые в журнале «Отечественные записки» в 1879 г., с подзаголовком «Из записной книжки». В первоначальной редакции рассказ, по цензурным соображениям, не мог быть опубликован, и Салтыков-Щедрин просил Гаршина внести в текст необходимые изменения. В подробном описании болезни Кузьмы точно воспроизведена болезнь одного из товарищей Гаршина по Горному институту Семена Кузьмича Квитки. «Мы дежурили при нем по двое день и ночь, – пишет Гаршин матери 12 марта 1876 г. – Надо промывать эту рану спринцовкой, вынимать губкой из нее материю и проч. Я не думал прежде, что я способен на это, однако оказался не хуже других». В отличие от героя рассказа Квитка остался жив. Упомянутая в рассказе «катастрофа на тилигульской насыпи» – крушение поезда на Одесской железной дороге, во время которого погибло больше ста солдат-новобранцев.

**Всеволод Михайлович
Гаршин
Трус**

Война решительно не дает мне покоя. Я ясно вижу, что она затягивается, и когда кончится – предсказать очень трудно. Наш солдат остался тем же необыкновенным солдатом, каким был всегда, но противник оказался вовсе не таким слабым, как думали, и вот уже четыре месяца, как война объявлена, а на нашей стороне еще нет решительного успеха. А между тем каждый лишний день уносит сотни людей. Нервы, что ли, у меня так устроены, только военные телеграммы с обозначением числа убитых и раненых производят на меня действие гораздо более сильное, чем на окружающих. Другой спокойно читает: «Потери наши незначительны, ранены такие-то офицеры, нижних чинов убито 50, ранено 100», и еще радуется, что мало, а у меня при чтении такого известия тотчас появляется перед глазами целая кровавая картина. Пятьдесят мертвых, сто изувеченных – это незначительная вещь! Отчего же мы так возмущаемся, когда газеты приносят известие о каком-нибудь убийстве, когда жертвами являются несколько человек? Отчего вид пронизанных пулями трупов, лежащих на поле бит-

вы, не поражает нас таким ужасом, как | вид
внутренности дома, разграбленного убийцей?
Отчего катастрофа на тилигульской насыпи,
стоившая жизни нескольким десяткам чело-
век, заставила кричать о себе всю Россию, а
на аванпостные дела с «незначительными»
потерями тоже в несколько десятков человек
никто не обращает внимания? Несколько
дней тому назад Львов, знакомый мне сту-
дент-медик, с которым я часто спорю о войне,
сказал мне:

– Ну, посмотрим, миролюбец, как-то вы бу-
дете проводить ваши гуманные убеждения,
когда вас заберут в солдаты и вам самим при-
дется стрелять в людей.

– Меня, Василий Петрович, не заберут: я за-
числен в ополчение.

– Да если война затянется, тронут и опол-
чение. Не храбритесь, придет и ваш черед. У
меня сжалось сердце. Как эта мысль не при-
шла мне в голову раньше? В самом деле, тро-
нут и ополчение – тут нет ничего невозмож-
ного. «Если война затянется»... да она наверно
затянется. Если не протянется долго эта вой-
на, все равно, начнется другая. Отчего ж и не

воевать? Отчего не совершать великих дел? Мне кажется, что нынешняя война – только начало грядущих, от которых не уйду ни я, ни мой маленький брат, ни грудной сын моей сестры. И моя очередь придет очень скоро. Куда ж денется твое «я»? Ты всем существом своим протестуешь против войны, а все-таки война заставит тебя взять на плечи ружье, идти умирать и убивать. Да нет, это невозможно! Я, смиренный, добродушный молодой человек, знавший до сих пор только свои книги, да аудиторию, да семью и еще несколько близких людей, думавший через год-два начать иную работу, труд любви и правды; я, наконец, привыкший смотреть на мир объективно, привыкший ставить его перед собою, думавший, что всюду я понимаю в нем зло и тем самым избегаю этого зла, – я вижу все мое здание спокойствия разрушенным, а самого себя напяливающим на свои плечи то самое рубище, дыры и пятна которого я сейчас только рассматривал. И никакое развитие, никакое познание себя и мира, никакая духовная свобода не дадут мне жалкой физической свободы – свободы располагать

СВОИМ ТЕЛОМ.

* * *

Львов посмеивается, когда я начинаю излагать ему свои возмущения против войны.

– Относитесь, батюшка, к вещам попроще, легче жить будет, – говорит он. – Вы думаете, что мне приятна эта резня? Кроме того, что она приносит всем бедствие, она и меня лично обижает, она не дает мне доучиться. Устроят ускоренный выпуск, ушлют резать руки и ноги. А все-таки я не занимаюсь бесплодными размышлениями об ужасах войны, потому что, сколько я ни думай, я ничего не сделаю для ее уничтожения. Право, лучше не думать, а заниматься своим делом. А если пошлют раненых лечить, поеду и лечить. Что ж делать, в такое время нужно жертвовать собой. Кстати, вы знаете, что Маша едет сестрой милосердия?

– Неужели?

– Третьего дня решила, а сегодня ушла практиковаться в перевязках. Я ее не отговаривал; спросил только, как она думает устро-

иться со своим учением. «После, говорит, доучусь, если жива буду». Ничего, пусть едет сестренка, доброму научится.

– А что ж Кузьма Фомич?

– Кузьма молчит, только мрачность на себя напустил зверскую и заниматься совсем перестал. Я за него рад, что сестра уезжает, право, а то просто извелся человек; мучится, тенью за ней ходит, ничего не делает. Ну, уж эта любовь! – Василий Петрович покрутил головой. – Вот и теперь побежал привести ее домой, будто она не ходила по улицам всегда одна!

– Мне кажется, Василий Петрович, что нехорошо, что он живет с вами.

– Конечно, нехорошо, да кто же мог предвидеть это? Нам с сестрой эта квартира велика: одна комната остается лишняя – отчего ж не пустить в нее хорошего человека? А хороший человек взял да и врезался. Да мне, по правде сказать, и на нее досадно: ну чем Кузьма хуже ее! Добрый, неглупый, славный. А она точно его не замечает. Ну, вы, однако, убирайтесь из моей комнаты; мне некогда. Если хотите видеть сестру с Кузьмой, подо-

ждите в столовой, они скоро придут.

– Нет, Василий Петрович, мне тоже некогда, прощайте! Только что я вышел на улицу, как увидел Марью Петровну и Кузьму. Они шли молча: Марья Петровна с принужденно-сосредоточенным выражением лица впереди, а Кузьма немного сбоку и сзади, точно не смея идти с нею рядом и иногда бросая искоса взгляд на ее лицо. Они прошли мимо, не заметив меня.

* * *

Я не могу ничего делать и не могу ни о чем думать. Я прочитал о третьем плевненском бое. Выбыло из строя двенадцать тысяч одних русских и румын, не считая турок... Двенадцать тысяч... Эта цифра то носится передо мною в виде знаков, то растягивается бесконечной лентой лежащих рядом трупов. Если их положить плечо с плечом, то составит дорога в восемь верст... Что же это такое? Мне говорили что-то про Скобелева, что он куда-то кинулся, что-то атаковал, взял какой-то редут или его у него взяли... я не помню. В этом

страшном деле я помню и вижу только одно – гору трупов, служащую пьедесталом грандиозным делам, которые занесутся на страницы истории. Может быть, это необходимо; я не берусь судить, да и не могу; я не рассуждаю о войне и отношусь к ней непосредственным чувством, возмущенным массой пролитой крови. Бык, на глазах которого убивают подобных ему быков, чувствует, вероятно, что-нибудь похожее... Он не понимает, чему его смерть послужит, и только с ужасом смотрит выкатившимися глазами на кровь и ревет отчаянным, надрывающим душу голосом.

* * *

Трус я или нет? Сегодня мне сказали, что я трус. Сказала, правда, одна очень пустая особа, при которой я выразил опасение, что меня заберут в солдаты, и нежелание идти на войну. Ее мнение не огорчило меня, но возбудило вопрос: не трус ли я в самом деле? Быть может, все мои возмущения против того, что все считают великим делом, исходят из страха за собственную кожу? Стоит ли действительно

заботиться о какой-нибудь одной неважной жизни в виду великого дела! И в силах ли я подвергнуть свою жизнь опасности вообще ради какого-нибудь дела? Я недолго занимался этими вопросами. Я припомнил всю свою жизнь, все те случаи, – правда, немногие, – в которых мне приходилось стоять лицом к лицу с опасностью, и не мог обвинить себя в трусости. Тогда я не боялся за свою жизнь и теперь не боюсь за нее. Стало быть, не смерть пугает меня...

* * *

Все новые битвы, новые смерти и страдания. Прочитав газету, я не в состоянии ни за что взяться: в книге вместо букв – валящиеся ряды людей; перо кажется оружием, наносящим белой бумаге черные раны. Если со мной так будет идти дальше, право, дело дойдет до настоящих галлюцинаций. Впрочем, теперь у меня явилась новая забота, немного отвлекшая меня от одной и той же гнетущей мысли. Вчера вечером я пришел к Львовым и застал их за чаем. Брат и сестра сидели у стола, а

Кузьма быстро ходил из угла в угол, держась рукой за распухшее и обвязанное платком лицо.

– Что с тобой? – спросил я его. Он не ответил, а только махнул рукой и продолжал ходить.

– У него разболелись зубы, сделался флюс и огромный нарыв, – сказала Марья Петровна. – Я просила его вовремя сходить к доктору, да он не послушался, а теперь вот до чего дошло.

– Доктор сейчас приедет; я заходил к нему, – сказал Василий Петрович.

– Очень нужно было, – процедил сквозь зубы Кузьма.

– Да как же не нужно, когда у тебя может сделаться подкожное излияние? И еще ходишь, несмотря на мои просьбы лечь. Ты знаешь, чем это иногда кончается?

– Чем бы ни кончилось, все равно, – пробормотал Кузьма.

– Вовсе не все равно, Кузьма Фомич; не говорите глупостей, – тихо сказала Марья Петровна. Довольно было этих слов, чтобы Кузьма успокоился. Он даже подсел к столу и попросил себе чаю. Марья Петровна налила и

протянула ему стакан. Когда он брал стакан из ее рук, его лицо приняло самое восторженное выражение, и это выражение так мало шло к смешной, безобразной опухоли щеки, что я не мог не улыбнуться. Львов тоже усмехнулся; одна Марья Петровна сострадательно и серьезно смотрела на Кузьму. Приехал свежий, здоровый, как яблоко, доктор, большой весельчак. Когда он осмотрел шею больного, его обычное веселое выражение лица переменилось на озабоченное.

– Пойдемте, пойдемте в вашу комнату; мне нужно хорошенько осмотреть вас. Я пошел за ним в комнату Кузьмы. Доктор уложил его в постель и начал осматривать верхнюю часть груди, осторожно трогая ее пальцами.

– Ну-с, вы извольте лежать смирно и не вставать. Есть у вас товарищи, которые пожертвовали бы немного своим временем для вашей пользы? – спросил доктор.

– Есть, я думаю, – ответил Кузьма недоумевающим тоном.

– Я попросил бы их, – сказал доктор, любезно обращаясь ко мне, – с этого дня дежурить при больном и, если покажется что-нибудь

новое, приехать за мной. Он вышел из комнаты; Львов пошел проводить его в переднюю, где они долго разговаривали о чем-то вполголоса, а я пошел к Марье Петровне. Она задумчиво сидела, опершись головою об одну руку и медленно шевеля другою ложечку в чашке с чаем.

– Доктор приказал дежурить около Кузьмы.

– Разве в самом деле есть опасность? – тревожно спросила Марья Петровна.

– Вероятно, есть; иначе зачем были бы эти дежурства? Вы не откажетесь ходить за ним, Марья Петровна?

– Ах, конечно нет! Вот и на войну не ездила, а уж приходится быть сестрой милосердия. Пойдемте к нему; ему ведь очень скучно лежать одному. Кузьма встретил нас, улыбнувшись, насколько ему позволила опухоль.

– Вот спасибо, – сказал он: – а я думал уж, что вы меня забыли.

– Нет, Кузьма Фомич, теперь мы вас не забудем: нужно дежурить около вас. Вот до чего доводит непослушание, – улыбаясь, сказала Марья Петровна.

– И вы будете? – робко спросил Кузьма.

– Буду, буду, только слушайте меня. Кузьма закрыл глаза и покраснел от удовольствия.

– Ах, да, – сказал он вдруг, обращаясь ко мне: – дай мне, пожалуйста, зеркало: вон на столе лежит. Я подал ему маленькое круглое зеркало; Кузьма попросил меня посветить ему и с помощью зеркала осмотрел больное место. После этого осмотра лицо его потемнело, и, несмотря на то, что мы втроем старались занять его разговорами, он весь вечер не вымолвил ни слова.

* * *

Сегодня мне наверно сказали, что скоро потребуют ополченцев; я ждал этого и не был особенно поражен. Я мог бы избежать участи, которой я так боюсь, мог бы воспользоваться кое-какими влиятельными знакомствами и остаться в Петербурге, состоя в то же время на службе. Меня «пристроили» бы здесь, ну, хоть для отправления писарской обязанности, что ли. Но, во-первых, мне претит прибегать к по-

добным средствам, а во-вторых, что-то, не подчиняющееся определению, сидит у меня внутри, обсуждает мое положение и запрещает мне уклониться от войны. «Нехорошо», – говорит мне внутренний голос.

* * *

Случилось то, чего я никак не ожидал. Я пришел сегодня утром, чтобы занять место Марьи Петровны около Кузьмы. Она встретила меня в дверях бледная, измученная бессонной ночью и с заплаканными глазами.

– Что такое, Марья Петровна, что с вами?

– Тише, тише, пожалуйста, – зашептала она. – Знаете, ведь все кончено.

– Что кончено? Не умер же он?

– Нет, еще не умер... только надежды никакой. Оба доктора... мы ведь другого позвали... Она не могла говорить от слез.

– Подите, посмотрите... Пойдемте к нему.

– Вытрите сначала слезы и выпейте воды, а то вы его совсем расстроите.

– Все равно... Разве он уже не знает? Он еще вчера знал, когда просил зеркало; ведь

сам скоро был бы доктором. Тяжелый запах анатомического театра наполнял комнату, где лежал больной. Его кровать была выдвинута на середину комнаты. Длинные ноги, большое туловище, руки, вытянутые по бокам тела, резко обозначились под одеялом. Глаза были закрыты, дыхание медленно и тяжело. Мне показалось, что он похудел за одну ночь; лицо его приняло скверный земляной оттенок и было липко и влажно.

– Что с ним? – спросил я шепотом.

– Пусть он сам... Оставайтесь с ним, я не могу. Она ушла, закрыв лицо руками и вздрагивая от сдерживаемых рыданий, а я сел около постели и ждал, пока Кузьма проснется. Мертвая тишина была в комнате; только карманные часы, лежавшие на столике около постели, выстукивали свою негромкую песенку да слышалось тяжелое и редкое дыхание больного. Я смотрел на его лицо и не узнавал его; не то чтобы его черты слишком переменялись – нет; но я увидел его в совершенно новом для меня свете. Я знал Кузьму давно и был с ним приятелем (хотя особенной дружбы между нами не существовало), но никогда

мне не приходилось так входить в его положение, как теперь. Я припомнил его жизнь, неудачи и радости, как будто бы они были моими. В его любви к Марье Петровне я до сих пор видел больше комическую сторону, а теперь понял, какие муки должен был испытывать этот человек. «Неужели он в самом деле так опасен? – думал я. – Не может быть; не может же человек умереть от глупой зубной боли. Марья Петровна плачет о нем, но он выздоровеет, и все будет хорошо». Он открыл глаза и увидел меня. Не переменяя выражения лица, он заговорил медленно, делая остановки после каждого слова:

– Здравствуй... Вот видишь, каков я... Конец наступил. Подкрался так неожиданно... глупо...

– Скажи мне наконец, Кузьма, что с тобой? Может быть, вовсе и не так дурно.

– Не дурно, ты говоришь? Нет, брат, очень дурно. На таких пустяках не ошибусь. На, смотри! Он медленно, методически отвернул одеяло, расстегнул рубашку, и на меня пахнуло невыносимым трупным запахом. Начиная от шеи, на правой стороне, на пространстве

ладони, грудь Кузьмы была черна, как бархат, слегка покрытый сизым налетом. Это была гангрена.

* * *

Вот уже четыре дня, как я не смыкаю глаз у постели больного, то вместе с Марьей Петровной, то с ее братом. Жизнь, кажется, едва держится в нем, а все не хочет оставить его сильного тела. Кусок черного мертвого мяса ему вырезали и выбросили, как тряпку, и доктор велел нам каждые два часа промывать большую рану, оставшуюся после операции. Каждые два часа мы, вдвоем или втроем, приступаем к постели Кузьмы, поворачиваем и приподымаем его огромное тело, обнажаем страшную язву и поливаем ее через гуттаперчевую трубку водою с карболовой кислотой. Она брызжет по ране, и Кузьма иногда находит силы даже улыбаться, «потому что, — объясняет он, — щекотно». Как всем редко болевшим людям, ему очень нравится, что за ним ухаживают, как за ребенком, а когда Марья Петровна берет в руки, как он говорит, «браз-

ды правления», то есть гуттаперчевую трубку, и начинает его поливать, он бывает особенно доволен и говорит, что никто не умеет делать этого так искусно, как она, несмотря на то, что трубка часто дрожит в ее руках от волнения и вся постель бывает облита водою. Как изменились их отношения! Марья Петровна, бывшая для Кузьмы чем-то недосыгаемым, на что он и смотреть боялся, почти не обращавшая на него внимания, теперь часто тихонько плачет, сидя у его постели, когда он спит, и нежно ухаживает за ним; а он спокойно принимает ее заботливость, как должное, и говорит с нею, точно отец с маленькой дочерью. Иногда он очень страдает. Рана его горит, лихорадка трясет его... Тогда мне приходят в голову странные мысли. Кузьма кажется мне единицею, одной из тех, из которых составляются десятки тысяч, написанные в реляциях. Его болезнью и страданиями я пробую измерить зло, причиняемое войной. Сколько муки и тоски здесь, в одной комнате, на одной постели, в одной груди – и все это одна лишь капля в море горя и мук, испытываемых огромною массою людей, которых посылают

вперед, ворочают назад и кладут на полях грудями мертвых и еще стонущих и копошащихся окровавленных тел. Я совершенно измучен бессонницей и тяжелыми мыслями. Нужно попросить Львова или Марью Петровну посидеть за меня, а я засну хоть на два часа.

* * *

Я спал мертвым сном, прикорнув на маленьком диванчике, и проснулся, разбуженный толчками в плечо.

– Вставайте, вставайте! – говорила Марья Петровна. Я вскочил и в первую минуту ничего не понимал. Марья Петровна что-то быстро и испуганно шептала.

– Пятна, новые пятна! – разобрал я наконец.

– Какие пятна, где пятна?

– Ах боже мой, он ничего не понимает! У Кузьмы Фомича новые пятна показались. Я уже послала за доктором.

– Да, может быть, и пустое, – сказал я с равнодушием только что разбуженного челове-

ка.

– Какое пустое, посмотрите сами! Кузьма спал, раскинувшись, тяжелым и беспокойным сном; он метался головой из стороны в сторону и иногда глухо стонал. Его грудь была раскрыта, и я увидел на ней, на вершок ниже раны, покрытой повязкой, два новых черных пятнышка. Это гангрена проникла дальше под кожу, распространилась под ней и вышла в двух местах наружу. Хотя я и до этого мало надеялся на выздоровление Кузьмы, но эти новые решительные признаки смерти заставили меня побледнеть. Марья Петровна сидела в углу комнаты, опустив руки на колени, и молча смотрела на меня отчаянными глазами.

– Да вы не приходите в отчаяние, Марья Петровна. Придет доктор, посмотрит; может быть, еще не все кончено. Может быть, еще выручим его.

– Нет, не выручим, умрет, – шептала она.

– Ну, не выручим, умрет, – отвечал я ей так же тихо: – для всех нас, конечно, это большое горе, но нельзя же так убиваться: ведь вы эти дни на мертвеца стали похожи.

– Знаете ли вы, какую муку я испытываю в эти дни? И сама не могу объяснить себе, отчего это. Я ведь не любила его, да и теперь, кажется, не люблю так, как он меня, а умрет он – сердце у меня разорвется. Все мне будет вспоминаться его пристальный взгляд, его постоянное молчание при мне, несмотря на то, что он умел говорить и любил говорить. Навсегда останется в душе упрек, что не пожалела я его, не оценила его ума, сердца, его привязанности. Может быть, это и смешно вам покажется, но теперь меня постоянно мучает мысль, что люби я его – жили бы мы совсем иначе, все бы иначе случилось, и этого страшного, нелепого случая могло бы и не быть. Думаешь-думаешь, оправдываешься-оправдываешься, а на дне души все что-то повторяет: виновата, виновата, виновата... Тут я взглянул на больного, боясь, что он проснется от нашего шепота, и увидел перемену в его лице. Он проснулся и слышал, что говорит Марья Петровна, но не хотел показать этого. Его губы дрожали, щеки разгорелись, все лицо точно осветило солнцем, как освещается мокрый и печальный луг, когда

раздвинутся тучи, нависшие над ним, и дадут выглянуть солнышку. Должно быть, он забыл и болезнь и страх смерти; одно чувство наполнило его душу и вылилось двумя слезинками из закрытых дрожащих век. Марья Петровна смотрела на него несколько мгновений как будто испуганно, потом покраснела, нежное выражение мелькнуло на ее лице, и, наклонясь над бедным полутрупом, она поцеловала его. Тогда он открыл глаза.

– Боже мой, как не хочется умирать! – проговорил он. И в комнате вдруг раздались странные тихие, хлипающие звуки, совершенно новые для моего уха, потому что раньше я никогда не видел этого человека плачущим. Я ушел из комнаты. Я сам чуть было не разревелся. Мне тоже не хочется умирать, и всем этим тысячам тоже не хочется умирать. У Кузьмы хоть утешение нашлось в последние минуты – а там? Кузьма, вместе с страхом смерти и физическими страданиями, испытывает такое чувство, что вряд ли он променял бы свои теперешние минуты на какие-нибудь другие из своей жизни. Нет, это совсем не то! Смерть всегда будет смертью, но

умереть среди близких и любящих, или валяясь в грязи и собственной крови, ожидая, что вот-вот придут и добьют, или наедут пушки и раздавят, как червяка...

* * *

– Я вам скажу откровенно, – говорил мне доктор в передней, надевая шубу и калоши, – что в подобных случаях, при госпитальном лечении, умирают девяносто девять из ста. Я надеюсь только на тщательный уход, на прекрасное расположение духа больного и на его горячее желание выздороветь.

– Всякий больной желает выздороветь, доктор.

– Конечно, но у вашего товарища есть некоторые усиливающие обстоятельства, – сказал доктор с улыбочкой. – Итак, сегодня вечером мы сделаем операцию – прорежем ему новое отверстие, вставим дренажи, чтобы лучше действовать водою, и будем надеяться. Он пожал мне руку, запахнул свою медвежью шубу и поехал по визитам, а вечером явился с инструментами.

– Может быть, угодно вам, мой будущий коллега, для практики сделать операцию? – обратился он к Львову. Львов кивнул головой, засучил рукава и с серьезно-мрачным выражением лица приступил к делу. Я видел, как он запустил в рану какой-то удивительный инструмент с трехгранным острием, видел, как острие пронзило тело, как Кузьма вцепился руками в постель и защелкал зубами от боли.

– Ну, не бабничай, – утрумо говорил ему Львов, вставляя дренаж в новую ранку.

– Очень больно? – ласково спросила Марья Петровна.

– Не так больно, голубушка, а ослабел я, измучился. Положили повязки, дали Кузьме вина, и он успокоился. Доктор уехал, Львов ушел в свою комнату заниматься, а мы с Марьей Петровной стали приводить комнату в порядок.

– Поправьте одеяло, – проговорил Кузьма ровным, беззвучным голосом. – Дует. Я начал поправлять ему подушку и одеяло по его собственным указаниям, которые он делал очень придирчиво, уверяя, что где-то около левого

локтя есть маленькая дырочка, в которую дует, и прося получше подсунуть одеяло. Я старался сделать это как можно лучше, но, несмотря на все мое усердие, Кузьме все-таки дуло то в бок, то в ноги.

– Неумелый ты какой, – тихо брюзжал он, – опять в спину дует. Пусть она. Он взглянул на Марью Петровну, и мне стало очень ясно, почему я не сумел угодить ему. Марья Петровна поставила склянку с лекарством, которую держала в руках, и подошла к постели.

– Поправить?

– Поправьте... Вот хорошо... тепло!.. Он смотрел на нее, пока она управлялась с одеялом, потом закрыл глаза и с детски-счастливым выражением на измученном лице заснул.

– Вы пойдете домой? – спросила Марья Петровна.

– Нет, я выспался отлично и могу сидеть; а впрочем, если я не нужен, то уйду.

– Не ходите, пожалуйста, поговоримте хоть немножко. Брат постоянно сидит за своими книгами, а мне одной быть с больным, когда он спит, и думать о его смерти так горько, так

тяжело!

– Будьте тверды, Марья Петровна, сестре милосердия тяжелые мысли и слезы воспрещаются.

– Да я и не буду плакать, когда буду сестрой милосердия. Все-таки не так тяжело будет ходить за ранеными, как за таким близким человеком.

– А вы все-таки едете?

– Еду, конечно. Выздоровеет он или умрет – все равно поеду. Я уже сжилась с этой мыслью и не могу отказаться от нее. Хочется хорошего дела, хочется оставить себе память о хороших, светлых днях.

– Ах, Марья Петровна, боюсь я, что не увидите вы свету на войне.

– Отчего? Работать буду – вот вам и свет. Хоть чем-нибудь принять участие в войне мне хочется.

– Принять участие! Да разве она не возбуждает в вас ужаса? Вы ли говорите мне это?

– Я говорю. Кто вам сказал, что я люблю войну? Только... как бы это вам рассказать? Война – зло; и вы, и я, и очень многие такого мнения; но ведь она неизбежна; любите вы ее

или не любите, все равно, она будет, и если не пойдете драться вы, возьмут другого, и все-таки человек будет изуродован или измучен походом. Я боюсь, что вы не понимаете меня: я плохо выражаюсь. Вот что: по-моему, война есть общее горе, общее страдание, и уклоняться от нее, может быть, и позволительно, но мне это не нравится. Я молчал. Слова Марьи Петровны яснее выразили мое смутное отвращение к уклонению от войны. Я сам чувствовал то, что она чувствует и думает, только думал иначе.

– Вот вы, кажется, всё думаете, как бы постараться остаться здесь, – продолжала она, – если вас заберут в солдаты. Мне брат говорил об этом. Вы знаете, я вас очень люблю, как хорошего человека, но эта черта мне в вас не нравится.

– Что же делать, Марья Петровна! Разные взгляды. За что я буду тут отвечать? Разве я войну начал?

– Не вы, да и никто из тех, кто теперь умер на ней и умирает. Они тоже не пошли бы, если бы могли, но они не могут, а вы можете. Они идут воевать, а вы останетесь в Петер-

бурге – живой, здоровый, счастливый, только потому, что у вас есть знакомые, которые пожалеют послать знакомого человека на войну. Я не беру на себя решать – может быть, это и извинительно, но мне не нравится, нет. Она энергически покачала кудрявой головой и замолчала.

* * *

Наконец вот оно. Сегодня я оделся в серую шинель и уже вкушал корни учения... ружейным приемам. У меня и теперь раздается в ушах:

– Смирно!.. Ряды вздво-ой! Слушай, на кра-аул! И я стоял смирно, вздваивал ряды и брякал ружьем. И через несколько времени, когда я достаточно постигну премудрость вздваиванья рядов, меня назначат в партию, нас посадят в вагоны, повезут, распределят по полкам, поставят на места, оставшиеся после убитых... Ну, да это все равно. Все кончено; теперь я не принадлежу себе, я плыву по течению; теперь самое лучшее не думать, не рассуждать, а без критики принимать всякие

случайности жизни и разве только выть, когда больно... Меня поместили в особое отделение казармы для привилегированных, которое отличается тем, что в нем не нары, а кровати, но в котором все-таки достаточно грязно. У непривилегированных новобранцев совсем скверно. Живут они, до распределения по полкам, в огромном сарае, бывшем манеже: его разделили полатями на два этажа, натащили соломы и предоставили временным обитателям устраиваться, как знают. На проходе, идущем посредине манежа, снег и грязь, наносимые со двора ежеминутно входящими людьми, смешались с соломой и образовали какую-то невообразимую слякоть, да и в стороне от него солома не особенно чиста. Несколько сот человек стоят, сидят и лежат на ней группами, состоящими из земляков: настоящая этнографическая выставка. И я разыскал земляков по уезду. Высокие неуклюжие хохлы, в новых свитках и смушковых шапках, лежали тесной кучкой и молчали. Их было человек десять.

– Здравствуйтесь, братцы.

– Здравствуйтесь.

– Давно из дому?

– Та вже дві неділі. А вы яки-таки будете? – спросил меня один из них. Я назвал свое имя, оказавшееся всем им известным. Встретив земляка, они немного оживились и разговорились.

– Скучно? – спросил я.

– Так як же не скучно! Дуже моторно. Коли б ще годували, а то така страва, що и боже мій!

– Куда ж вас теперь?

– А хто ёго зна! Кажуть, пид турку...

– А хочется на войну?

– Чого я там не бачив? Я начал спрашивать о нашем городе, и воспоминания о доме развязали языки. Начались рассказы о недавней свадьбе, для которой была продана пара волов и вскоре после которой молодого забрали в солдаты, о судебном приставе, «сто чортів ему конних у горло», о том, что мало становится земли, и поэтому из слободы Марковки в этом году поднялось несколько сот человек идти на Амур... Разговор держался только на почве прошедшего; о будущем, о тех трудах, опасностях и страданиях, которые ждали

всех нас, не говорил никто. Никто не интересовался узнать о турках, о болгарях, о деле, за которое шел умирать. Проходивший мимо пьяненький солдатик местной команды остановился против нашей кучки и, когда я снова заговорил о войне, авторитетно заявил:

– Этого самого турку бить следует.

– Следует? – спросил я, невольно улыбнувшись уверенности решения.

– Так точно, барин, чтоб и звания его не осталось поганого. Потому от его бунту сколько нам всем муки принять нужно! Ежели бы он, например, без бунту, чтобы благородно, смиренно... был бы я теперь дома, при родителях, в лучшем виде. А то он бунтует, а нам огорчение. Это вы будьте спокойны, верно я говорю. Папиросочку пожалуйста, барин! – вдруг оборвал он, вытянувшись передо мной во фронт и приложив руку к козырьку. Я дал ему папиросу, простился с земляками и пошел домой, так как наступило время, свободное от службы. «Он бунтует, а нам огорчение», – звенел у меня в ушах пьяный голос. Коротко и неясно, а между тем дальше этой фразы не пойдешь.

У Львовых тоска, уныние. Кузьма очень плох, хотя рана его и очистилась: страшный жар, бред, стоны. Брат в сестра не отходили от него все дни, пока я был занят поступлением на службу и ученьями. Теперь, когда они знают, что я отправляюсь, сестра стала еще грустнее, а брат еще угрюмее.

– В форме уже! – проворчал он, когда я поздоровался с ним в комнате, закуренной и заваленной книгами. – Эх вы, люди, люди...

– Что же мы за люди, Василий Петрович?

– Заниматься вы мне не даете – вот что! И так времени совсем нет, кончить курса не дадут, пошлют на войну; и так многого узнать не придется; а тут еще вы с Кузьмой.

– Ну, положим, Кузьма умирает, а я-то что?

– Да вы разве не умираете? Не убьют вас – с ума сойдете или пулю в лоб пустите. Разве я не знаю вас и разве не было примеров?

– Каких примеров? Разве вы знаете что-нибудь подобное? Расскажите, Василий Петрович!

– Отстаньте вы, очень нужно вас еще пуще разогорчать! Вредно вам. И я ничего не знаю, это я так сказал. Но я пристал к нему, и он рассказал мне свой «пример».

– Мне один раненый офицер-артиллерист рассказывал. Вышли они только что из Кишинева, в апреле, тотчас после объявления войны. Дожди шли постоянные, дороги исчезли; осталась одна грязь, такая, что орудия и повозки уходили в нее по оси. До того дошло, что лошади не берут; прицепили канаты, поехали на людях. На втором переходе дорога ужасная: на семнадцати верстах двенадцать гор, а между ними все топь. Въехали и стали. Дождь хлещет, на теле ни нитки сухой, проголодались, измучились, а тащить нужно. Ну, конечно, тянет-тянет человек и упадет лицом в грязь без памяти. Наконец добрались до такой трясины, что двинуться вперед было невозможно, а все-таки продолжали надрываться! «Что тут было, – офицер мой говорит, – вспомнить страшно!» Доктор молодой был у них, последнего выпуска, нервный человек. Плачет. «Не могу, говорит, я вынести этого зрелища; уеду вперед». Уехал. Нарубили

солдаты веток, сделали чуть не целую плотину и наконец сдвинулись с места. Вывезли батарею на гору: смотрят, а на дереве доктор висит... Вот вам пример. Не мог человек вида мучений вынести, так где ж вам самые-то муки одолеть?..

– Василий Петрович, да не легче ли самому муки нести, чем казниться, как этот доктор?

– Ну, не знаю, что хорошего, что вас самих в дышло запрягут.

– Совесть мучить не будет, Василий Петрович.

– Ну, это, батюшка, что-то тонко. Вы с сестрой об этом поговорите: она насчет этих тонкостей дока. «Анну Каренину» ли по косточкам разобрать или о Достоевском поговорить, все может; а уж эта штука в каком-нибудь романе, наверно, разобрана. Прощайте, философ! Он добродушно рассмеялся своей шутке и протянул мне руку.

– Вы куда?

– На Выборгскую, в клинику. Я вошел в комнату Кузьмы. Он не спал и чувствовал себя лучше обыкновенного, как объяснила мне Марья Петровна, неизменно сидевшая около

постели. Он еще не видел меня в форме, и мой вид неприятно поразил его.

– Тебя здесь оставят или ушлют в армию? – спросил он.

– Отправят; разве ты не знаешь? Он молчал.

– Знал, да забыл. Я, брат, теперь вообще мало помню и соображаю... Что ж, поезжай. Нужно.

– И ты, Кузьма Фомич!

– Что «и я»? Разве не правда? Какие твои заслуги, чтоб тебя простили? Иди, помирай! Нужнее тебя есть люди, работающее тебя, и те идут... Поправь мне подушку... вот так. Он говорил тихо и раздраженно, как будто мстя кому-то за свою болезнь.

– Все это верно, Кузя, да разве я и не иду? Разве я протестую лично за себя? Если бы это было так, я бы остался здесь без дальних разговоров: устроить это нетрудно. Я не делаю этого; меня требуют, и я иду. Но пусть по крайней мере мне не мешают иметь об этом свое собственное мнение. Кузьма лежал, неподвижно устремив глаза в потолок, как будто не слушая меня. Наконец он медленно

повернул ко мне голову.

– Ты не прими моих слов за что-нибудь настоящее, – проговорил он. – Я измучен и раздражен и, право, не знаю, за что придираюсь к людям. Уж очень я стал сварлив; должно быть, скоро помирать пора.

– Полно, Кузьма, подбодрись. Рана очистилась, подживает, все идет к лучшему. Теперь не о смерти, а о жизни говорить следует. Марья Петровна взглянула на меня большими печальными глазами, и мне вдруг вспомнилось, как она сказала мне две недели тому назад: «Нет, не выздоровеет, умрет».

– А что, если бы в самом деле ожить? Хорошо бы было! – слабо улыбнувшись, сказал Кузьма. – Тебя ушлют драться, и мы с Марьей Петровной поедem: она милосердной сестрицей, а я врачом. И буду я около тебя, раненого, возиться, как ты теперь около меня.

– Будет болтать, Кузьма Фомич, – сказала Марья Петровна, – вредно вам много говорить, да и пора начинать ваше мучение. Он отдался в наше распоряжение; мы раздели его, сняли повязки и принялись за работу над огромной истерзанной грудью. И когда я на-

правлял струю воды на обнаженные кровавые места, на показавшуюся и блестящую, как перламутр, ключицу, на вену, проходившую через всю рану и лежавшую чисто и свободно, точно это была не рана на живом человеке, а анатомический препарат, я думал о других ранах, гораздо более ужасных и качеством и подавляющим количеством и, сверх того, нанесенных не слепым, бессмысленным случаем, а сознательными действиями людей.

* * *

Я не пишу в эту книжку ни слова о том, что делается и что я испытываю дома. Слезы, которыми встречает и провожает меня мать, какое-то тяжелое молчание, сопровождающее мое присутствие за общим столом, предупредительная доброта братьев и сестер – все это тяжело видеть и слышать, а писать об этом еще тяжелее. Когда подумаешь, что через неделю придется лишиться всего самого дорогого в мире, слезы подступают под горло...

Вот наконец и прощанье. Завтра утром, чуть свет, наша партия отправляется по железной дороге. Мне позволили провести последнюю ночь дома; и я сижу в своей комнате один, в последний раз! В последний раз! Знает ли кто-нибудь, не испытывавший такого последнего раза, всю горечь этих двух слов? В последний раз разошлась семья, в последний раз я пришел в эту маленькую комнату и сел к столу, освещенному знакомой низенькой лампой, заваленному книгами и бумагой. Целый месяц я не прикасался к ним. В последний раз я беру в руки и рассматриваю начатую работу. Она оборвалась и лежит мертвая, недоношенная, бессмысленная. Вместо того чтобы кончать ее, ты идешь, с тысячами тебе подобных, на край света, потому что истории понадобились твои физические силы. Об умственных забудь: они никому не нужны. Что до того, что многие годы ты воспитывал их, готовился куда-то применить их? Огромному неведомому тебе организму, которого ты составляешь ничтожную часть, захотелось от-

резать тебя и бросить. И что можешь сделать против такого желания ты, ...ты палец от ноги?..

* * *

Однако довольно. Пора лечь и постараться заснуть; завтра нужно встать очень рано.

* * *

Я просил, чтобы меня никто не провожал на железную дорогу. Дальние проводы – лишние слезы. Но когда я уже сидел в вагоне, набитом людьми, я ощутил такое щемящее душу одиночество, такую тоску, что, кажется, отдал бы все на свете, чтоб хоть несколько минут провести с кем-нибудь из близких. Наконец настал назначенный час, но поезд не тронулся: что-то задержало его. Прошло полчаса, час, полтора, а он все еще стоял. В эти полтора часа я успел бы побывать дома... Может быть, кто-нибудь не утерпит и приедет... Нет, ведь все думают, что поезд уже ушел; никто не станет рассчитывать на опоздание. А

все-таки, может быть... И я смотрел в ту сторону, откуда могли ко мне прийти. Никогда время не тянулось так долго. Резкие звуки рожка, игравшего сбор, заставили меня вздрогнуть. Солдаты, вылезшие из вагонов и толпившиеся на платформе, торопились усаживаться. Сейчас тронется поезд, и я никого не увижу. Но я увидел. Львовы, брат и сестра, почти бежали к вагону, и я ужасно обрадовался им. Не помню, что я говорил им, не помню, что они мне говорили, кроме одной только фразы: «Кузьма умер».

* * *

На этой фразе кончаются заметки в записной книжке. Широкое снежное поле. Белые холмы окружают его, на них белые, же, заиндевевшие деревья. Небо пасмурно, низко; в воздухе чувствуется оттепель. Трещат ружья, слышатся частые удары пушечных выстрелов; дым покрывает один из холмов и медленно сползает с него на поле. Сквозь него чернеет движущаяся масса. Когда взглядишься в нее пристальнее, то видишь, что она состо-

ит из отдельных черных точек. Многие из этих точек уже неподвижны, но другие все двигаются и двигаются вперед, хотя им еще далеко до цели, видимой только по массе дыма, несущегося с нее, и хотя их число с каждым мгновением становится все меньше и меньше. Батальон резерва, лежавший в снегу, не составив ружья в козлы, а держа их в руках, следил за движением черной массы всею тысячью своих глаз.

– Пошли, братцы, пошли... Эх, не дойдут!

– И чего это только нас держат? С подмогой живо бы взяли.

– Жизнь тебе надоела, что ли? – угрюмо сказал пожилой солдат из «билетных»: – лежи, коли положили, да благодари бога, что цел.

– Да я, дяденька, цел буду, не сомневайтесь, – отвечал молодой солдат с веселым лицом. – Я в четырех делах был, хоть бы что! Оно спервоначалу только боязно, а потом – ни боже мой! Вот барину нашему впервой, так он небось у бога прощенья просит. Барин, а барин?

– Чего тебе? – отозвался худощавый солдат

с черной бородкой, лежавший возле.

– Вы, барин, глядите веселее!

– Да я, голубчик, и так не скучаю.

– Вы меня держитесь, ежели что. Уж я бывал, знаю. Ну, да у нас барин молодец, не побегит. А то был такой до вас вольноопределяющий, так тот, как пошли мы, как зачали пули летать, бросил он и сумки и ружье: побег, а пуля ему вдогонку, да в спину. Так нельзя, потому – присяга.

– Не бойся, не побегу... – тихо отвечал «барин». – От пули не убежишь.

– Известно, где от ей убежать! Она шельма... Батюшки светы! Никак наши-то стали! Черная масса остановилась и задымилась выстрелами.

– Ну, палить стали, сейчас назад... Нет, вперед пошли. Выручай, мать пресвятая богородица! Ну-ка еще, ну, ну... Эка раненых-то валится, господи! И не подбирают.

– Пуля! Пуля! – раздался вокруг говор. В воздухе действительно что-то зашуршало. Это была залетная, шальная пуля, перелетевшая через резервы. Вслед за ней полетела другая, третья. Батальон оживился.

– Носилки! – закричал кто-то. Шальная пуля сделала свое дело. Четверо солдат с носилками бросились к раненому. Вдруг на одном из холмов, в стороне от пункта, на который велась атака, показались маленькие фигурки людей и лошадей, и тотчас же оттуда вылетел круглый и плотный клуб дыма, белого, как снег.

– В нас подлец метит! – закричал веселый солдат. Завизжала и заскрежетала граната, раздался выстрел. Веселый солдат уткнулся лицом в снег. Когда он поднял голову, то увидел, что «барин» лежит рядом с ним ничком, раскинув руки и неестественно изогнув шею. Другая шальная пуля пробила ему над правым глазом огромное черное отверстие.

1875 г.